

Книга П.С. Стефановича посвящена одной из классических проблем истории Древней Руси. Тем не менее ему удалось внести в её изучение немало нового. Прежде всего это связано с применённой им методикой. Выделю два важнейших, на мой взгляд, методологических аспекта его исследования.

Во-первых, это сравнительно-исторический подход. О компаративистике написано немало, постоянно высказываются как позитивные, так и негативные оценки её эвристических возможностей, но гораздо меньше конкретных результатов её практического применения. Чаще всего приходится сталкиваться либо с известной ещё чуть ли не с XVIII в. тенденцией заполнять лакуны в изучаемом материале с помощью материалов из других регионов или эпох, либо с огульным отрицанием возможностей компаративистики в принципе. И та, и другая крайности имеют свои «злокачественные» формы. Первая породила, например, выстраивание различных националистических мифов (типа пресловутого «нордического»), которые конструируются из разнородных и разновременных сведений, созданных якобы одним и тем же народным духом. Сюда же можно отнести и советско-марксистские схемы, в рамках которых происходило «подтягивание» тех или иных источников к известному заранее «всемирно-историческому» стандарту. Вторая крайность проявила себя в последнее время в форме так называемых постмодернизма или нарратологии, породивших, в частности, гиперскептическое отношение к сравнительно-историческому сопоставлению. Этот скептицизм отчасти может быть объяснён злоупотреблениями компаративистики, характерными для историографии XIX и большей части XX в. Объяснён, но не оправдан, так как в пределе отрицание сравнительно-исторического метода делает невозможным историческое исследование в принципе. Ведь любое исследование, даже в рамках микроистории, неизбежно подразумевает сопоставление неповторимых явлений и событий, и поэтому всегда может быть поставлено под вопрос. С философской точки зрения, подобный скептицизм, возможно, оправдан. Но не с исторической. Во всяком случае, если понимать под историей исследование прошлого, а не рассуждения о том, почему его невозможно познать.

В самом деле, если можно объединять в одном историографическом «нарративе» новгородских и киевских бояр, то почему нельзя делать то же самое применительно к славянской и германской знати? Это логическое противоречие ясно показывает, что без компаративного подхода никакое исследование раннесредневековых социумов невозможно, а любой скептицизм – кроме самого радикального, делающего невозможным вообще любое историческое исследование, – уместен, но так же конвенционален, как и попытки реконструкции исторической реальности. Вопрос, таким образом, может стоять только о рамках сравнительно-исторического подхода.

Как представляется, автору удалось миновать обе опасности: Сциллу тенденциозного нанизывания разнородных данных на шампур предвзятой теории и Харибду тотального скептицизма – столь же бесплодного, сколь и теоретически ущербного. Чрезвычайно важно в этом смысле то, что он использует для сопоставлений не «готовый» материал, взятый, как часто, к сожалению, встречается в отечественной историографии, из вторых–третьих рук, т.е. из переводных работ или – того хуже – из пересказов отечественными авторами зарубежных исследований. Стефанович опирается на данные источников и, прекрасно зная зарубежную историографию (особенно немецкую), находится

в курсе *актуальных* дискуссий по интересующей его проблематике. Историографический раздел книги занимает (и занимает по праву) более сотни страниц⁸⁴. Всё это способствует тому, что древнерусская знать рассматривается не как «вещь в себе», а на фоне раннесредневековых европейских элит в целом. Конечно, в этом отношении у Стефановича были предшественники, в том числе в отечественной историографии (и прежде всего критикуемые им по многим позициям М.Б. Сverdлов и А.А. Горский), но надо признать, что его работа, безусловно, выделяется масштабом привлечённых к сопоставлению материалов. Несомненный интерес представляет, в частности, попытка выйти за пределы Центральной и Восточной Европы и привлечь североευропейские данные (речь идёт прежде всего о попытке применения концепта «большой дружины» к схожим в какой-то степени явлениям в державе Кнуда Великого).

Во-вторых, это *терминологический* подход. Раздел «Древнее слово *дружина*», в котором анализируется значение этого слова, причём не только в древнерусских, но и в церковнославянских текстах, представляется мне чрезвычайно интересным в этом отношении. Здесь немало и конкретных, очень ценных наблюдений, заслуживающих внимания предположений, ответов на давно обсуждавшиеся вопросы и выясненных недоразумений. Но мне бы вновь хотелось обратить внимание на *методическую* сторону дела. В последнее время терминологический подход приобрёл большую популярность, что вполне объяснимо. В условиях, когда очевидным образом обанкротились различные генерализирующие схемы (эволюционистские, националистические, марксистские) естественным выглядит обращение даже не просто *ad fontes*, но даже к тем «кирпичикам», из которых сложены эти самые *fontes*, т.е. к словам и их значениям.

Но что чаще всего понимается под терминологическими исследованиями? Автор справедливо критикует тех учёных, которые, по меткому выражению К. Модзелевского, занимаясь «перелистыванием словарей»⁸⁵ (я бы употребил и другую метафору – составление телефонной книги), дают перечни неких упоминаний, из которых обычно, как метко замечает П. Стефанович, в конечном счёте следует, что всё это не имеет значения. Методика самого автора, безусловно, выигрышная, состоит в тщательном и полном анализе значений слова на основе этимологии, анализа контекста и с обязательным учётом характера и времени возникновения источника, в котором это слово упомянуто. Такой анализ, предусматривающий, в частности, если говорить о начальном летописании, непрременную опору на текстологию (автор ориентируется тут на концепцию А.А. Шахматова в её новейшей «редакции», осуществлённой прежде всего А.А. Гиппиусом⁸⁶, а в ряде случаев делает собственные – очень любопытные –

⁸⁴ Тут хотелось бы заметить, что П. Стефанович, на мой взгляд, совершенно прав в своём сопоставлении немецкой теории «господства знати» (*Adelsherrschaft*) и советско-марксистских «этатистских» концепций типа теории «государственного феодализма», причём он мог бы сослаться на более раннюю работу автора этих строк, где возможность такого сопоставления довольно подробно и, насколько мне известно, впервые обсуждалась (см.: *Лукин П.В.* «Варварская Европа» и современные проблемы изучения раннесредневековых славянских обществ...).

⁸⁵ *Modzelewski K.* *Barbarzyńska Europa*. Warszawa, 2004. S. 325.

⁸⁶ Стефанович принимает концепцию «Начального свода» в её самом радикальном виде, считая, что он без серьёзных искажений отразился в Новгородской первой летописи младшего извода. В принципе соглашаясь в этом аспекте с шахматовской реконструкцией, замечу, что мне такой радикализм представляется излишним, и вопрос о том, где лучше отразился первоначальный текст, в Новгородской первой летописи или в «Повести временных лет», должен рассматриваться без априорных допущений и применительно к каждой летописной статье.

текстологические наблюдения), иногда можно назвать даже филигранным. П.С. Стефановичу удаётся выделить конкретные значения слова «дружина», но при этом выясняется, что даже самое «социальное» из них («люди князя, княжеское войско») не имело чёткого терминологического характера и могло обозначать разные группы людей, подчинённых князю. Этот вывод представляется весьма убедительно обоснованным. Очень существенны – в контексте дискуссии об отношениях «дружины» и князя – наблюдения, показывающие, что «дружина» могла быть не только у князей. Также заслуживает самого серьёзного внимания раздел, посвящённый анализу выражений «старшая» и «младшая» дружина. В литературе они обычно понимаются «институционально», т.е. как указания на определённые градации в составе дружины как института. Автор доказывает, что оба выражения употреблялись окказионально, указывая на разные группы в окружении князя вне зависимости друг от друга.

Что касается модели организации древнерусской знати X–XI вв., которую Стефанович строит в последующих главах книги, то она, как представляется, станет новой точкой отсчёта при изучении данной проблематики. Будучи основанной на тщательном и полном изучении источников, привлечении сравнительно-исторических параллелей, постоянном внимании к текстологии, эта модель в целом выглядит вполне жизнеспособной. Тонким и нюансированным, в частности, является ключевой для новой интерпретации этих сюжетов, предложенной Стефановичем, анализ упоминаний древнерусской знати в русско-византийских договорах и трактате *De Cerimoniis* Константина Багрянородного (хотя, разумеется, загадки этих текстов будут обсуждаться и в дальнейшем). Тщателен и продуктивен анализ отдельных терминов – «отроки», «оружники» и особенно «бояре». Хотелось бы выделить образцовый в своём роде раздел, посвящённый гридям. В результате комплексного историко-лингвистического исследования автору удалось установить, что слово «гридь» было именно *термином*, обозначавшим княжеских воинов. Интересными представляются и аргументы Стефановича по поводу статуса новгородских огнищан. В то же время вопрос следует считать открытым⁸⁷. Что же касается «купцов» из тех же новгородских списков, то относительно их я продолжаю считать, что так могло обозначаться всё торгово-ремесленное население в целом (решающим, но далеко не единственным доводом в пользу этого является отсутствие в подобных перечнях понятия «ремесленник(и)», хотя конкретные представители ремесленных профессий нередко упоминаются). Кстати, Стефанович неправ и в том, что наличие подобного словоупотребления предполагается только для Новгорода. Ещё А.Е. Пресняков писал о том, что «купцы» в известиях о волнениях во Владимире-на-Клязьме в 70-х гг. XII в. – это именно торгово-ремесленное население в целом, а не торговцы «в чистом виде»⁸⁸.

В продолжение замечу, что, конечно, многие выводы, к которым приходит автор, неизбежно будут вызывать дискуссии (да и сам он не претендует на то, чтобы «закрыть тему»). Особенно это касается, разумеется, одного из центральных для книги вопросов – «дружинного». Выскажу в связи с этим некоторые свои соображения. В целом с критикой «реификации» понятия «дружина», корни которой лежат в старой немецкой *Verfassungsgeschichte* (формально-юридической школе в историографии. – *Примеч. ред.*), можно согласиться.

⁸⁷ Лукин П.В. Вече: социальный состав // Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Указ. соч. С. 123–124.

⁸⁸ См.: Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 327.

Как верно замечает Стефанович, не выглядят убедительными попытки видеть дружину там, где обнаруживается нечто из ряда вон выходящее, как, например, тенденция археологов объявлять «дружинными» все ранние богатые захоронения древнерусского времени, где обнаруживается вооружение. В этом качестве «дружина», видимо, заменила ставших менее модными, но ранее также вездесущих «феодалов» (здесь Стефанович развивает ироничные и очень верные замечания А.В. Назаренко). Но стоит ли так решительно вообще отказываться от понятия «дружина» применительно к служилой древнерусской знати (автор принимает его только для военных объединений архаического времени)? Тут, как представляется, возможен и более нюансированный подход. Да, автор прав в своей критике тех историков, которые – иногда даже декларируя «многозначность» понятия «дружина» – на практике использовали его без особых оговорок при характеристике всего древнерусского элитного слоя. Но как быть с теми упоминаниями «дружины», которые явно включают в себя весь этот слой в целом? В качестве примера можно привести два одновременных свидетельства, одно из которых разбирается и в обсуждаемой книге.

Во-первых, это рассказ о пирах Владимира Святославича из Начальной летописи. Несмотря на всю типизацию, идеализацию, условность этого рассказа, о которых вполне справедливо пишет автор, ясно, что здесь дружиной названы не просто всякие «люди князя», а светский элитный слой в целом. Из фрагмента также ясно следует, что этот слой служит князю, но имеет при этом свои права и привилегии. Существенно в этом смысле упоминание в перечне пировавших «нарочитых людей». Как уже приходилось отмечать, это словосочетание носило литературный характер, представляя собой кальку с соответствующих греческих выражений, и поэтому, строго говоря, могло характеризовать любых представителей элиты⁸⁹. В этом отношении оно вполне могло функционально заменять (и, скорее всего, заменяло) тех самых «прочих», отсутствие которых автор считает аргументом в пользу «семантической текучести» понятия «дружина» в этом рассказе.

Второе известие – существенно более позднее, относится ко второй половине XII в. После гибели Андрея Боголюбского во Владимире состоялось совещание: «Увѣдѣвше же смерть князю ростовци, и сужьдалци, и переяславци, и вся дружина от мала и до велика, съѣхашася к Володимѣрю». На совещании было принято решение пригласить в Северо-Восточную Русь племянников убитого князя – Ростиславичей⁹⁰. Контекст сообщения и дальнейшее развёртывание событий показывает, что этой «всей дружиной» почти наверняка была близкая к князьям из рода Юрия Долгорукого знать, так как рядовые горожане (во всяком случае, из Переяславля, скорее всего, Ростова) занимали иную позицию и выступили впоследствии в поддержку других кандидатов братьев покойного Андрея – Юрьевичей⁹¹. Следовательно, упоминание в источнике «дружины» может сигнализировать о том, что речь идёт об «околокняжеском» элитном слое. *Может*, но, конечно, не *должно* само по себе. Для доказательства подобного значения необходим тщательный анализ контекста и исторической ситуации, которую он (контекст) характеризует. Наконец, в Предисловии к «Софийскому временнику», о котором много пишет Стефанович, «дружина»,

⁸⁹ См.: Лукин П.В. События 1015 г. К оценке достоверности летописных сообщений // Отечественная история. 2007. № 4.

⁹⁰ ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371–372. Ср.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 595–596.

⁹¹ См. об этом: Лукин П.В. Вече: социальный состав. С. 67–70.

по-моему, весьма чётко выступает в качестве некоего элитного слоя княжеских служилых людей, обладающих собственным этосом, а не чего-то совсем уж расплывчатого и неопределённого.

Таким образом, автор, на мой взгляд, прав в отрицании того, что понятие «дружина» имело чёткий терминологический характер и в акцентировании внимания на его «текучести» в рамках литературного нарратива, каковым была летопись. Можно согласиться и с его критикой концепции «дружинного государства» и жёстких схем, в которых дружина играет роль монолитного и единственного господствующего класса вроде пресловутых «феодалов». Но в то же время вряд ли стоит отказываться от «дружины» как от научного понятия. В том смысле, о котором говорилось выше (светская элита на службе у князя) «дружина» всё-таки упоминается в источниках, и при известных оговорках это понятие использовать, думается, можно. «Дружина» тут принципиальным образом не отличается от других древнерусских понятий, подавляющему большинству которых была свойственна «нетерминологичность». Например, «недружинное» – скажем, городское – войско также, как уже приходилось писать, не имело «своего» термина и, тем не менее, безусловно, существовало. По традиции к нему применяется слово «вои», хотя оно ещё менее «терминологично», чем «дружина». Сохранение именно такого обозначения этого войска, на мой взгляд, возможно, так как есть контексты, в которых «вои» (так сказать, «собственно вои») ясно отделяются от дружины. Тот факт, что от «дружины» как от научного понятия избавиться вряд ли возможно, демонстрирует и попытка автора ввести в отечественную историографию упоминавшийся выше термин, предложенный чешским историком Ф. Граусом для характеристики определённого типа военной организации центральноевропейских раннесредневековых обществ – «большая дружина». Не подрывается ли эвристическая ценность нового понятия, если не имеет определённого значения (пусть даже имеющего характер одного из многих смысловых оттенков) само определяемое слово – «дружина»?

Не вполне ясно и отношение автора к «центральноевропейской» модели в целом. С одной стороны, он анализирует древнерусскую знать, ориентируясь на эту модель, с другой – отзывается о сочинениях её суровых критиков применительно к Чехии Л. Яна, М. Выходы и других как об «интересных». Но если правы эти критики, то какова, например, эвристическая ценность понятия «большая дружина», разработанного именно на чешском материале?

Несколько отвлекаясь от этого сюжета, отмечу также, что автор вообще в ряде случаев ограничивается простым упоминанием альтернативных концепций, избегая прямой их критики, а главное – анализа аргументации, на которой эти концепции основаны. Я в общем согласен с его критическим отношением к «гиперскептическим» оценкам Т.Л. Вилкул или П. Жмудцкого, но подробного разбора этих представлений в книге П.С. Стефановича нет. Вместо него часто приходится видеть утверждения такого типа: «Позиция X выглядит весьма убедительной, а критика её со стороны Y – менее убедительной». Или оценку тех или иных свидетельств со стороны Z «можно назвать непродуктивной», а вот возражения против чьих-то построений со стороны Z' надо, на взгляд автора, характеризовать как «справедливые». В чьих именно глазах нечто «выглядит» именно так, а не иначе, и почему; кому и почему какие-то оценки «можно» назвать именно так; что является критерием «справедливости» тех или иных оценок, часто не поясняется. Прекрасно понимая, что кому-то

подобные подробные разборы других точек зрения на предмет могут показаться излишними, скучными, загромождающими изложение и т.п., всё-таки полагаю, что они необходимы: ибо в науке должны оцениваться не *позиции* – сколь бы привлекательными, ярко сформулированными, «модными» или, наоборот, основанными на почтенной традиции, они ни были, а *аргументы*, и только они.

Есть, конечно, в большой работе и спорные моменты более частного характера, некоторые суждения, которые автору этих строк представляются неверными или недоказанными, интерпретации, кажущиеся ошибочными. Чтобы не загромождать изложение деталями, приведу только один пример, важный для главной темы книги.

В главе о «большой дружине» П.С. Стефанович рассуждает о размерах жалованья, которое могли получать воины на княжеской службе. В частности, анализируется свидетельство Предисловия к «Софийскому временнику» о том, что кто-то из княжеских «мужей» был недоволен какой-то выплатой то ли в 200 гривен, как стоит в сохранившемся летописном тексте, то ли в пять, как реконструирует автор, ставя под сомнение историческую достоверность цифры 200. Стефанович придаёт большое значение реконструируемой им цифре и, опираясь на эту реконструкцию, пытается подсчитать размер жалованья гридей. Однако следует иметь в виду, что мы, во-первых, имеем дело с риторикой, во-вторых, не знаем, что именно имелось в виду под этими двумястами (если верить тексту) или пятью (если следовать реконструкции Стефановича) гривнами. Достаточно предположить, что так могло оцениваться всё имущество, включая сёла, челядь и т.д., а не предполагаемое ежемесячное жалованье, или же просто какие-то сокровища конкретного алчного боярина – современника летописца, и цифра 200 становится сразу существенно более реальной. Кстати, понимать дело так, что соответствующие жалобы – хотя бы о пяти гривнах – предъявлялись гридями, «солдатами» по мысли автора, т.е. фактически рядовыми воинами, весьма затруднительно, поскольку тогда получается, что эти рядовые воины могли одаривать своих жён золотыми обручами (в отличие от дружинников прежних князей, которые удостаивали своих супруг лишь серебряных обручей). Представляется, что в действительности – как это обычно и считается, в историографии – тут сравниваются принципиально сопоставимые группы элиты: в обоих случаях это высшая знать, служившая князьям, основным занятием которой была война (последнее следует из контекста).

Если же оценивать работу П.С. Стефановича в целом, можно сказать, что мы имеем дело с очень серьёзным и важным трудом. Несмотря на все совершенно неизбежные из-за узости источниковой базы спорные моменты, в ней на принципиально новом уровне ставится и решается целый ряд важнейших проблем социальной истории Древней Руси, а «вписанность» её в мировой историографический контекст существенным образом выделяет её на фоне традиционно тяготеющей к определённой автаркии советской и постсоветской русистики-медиевистики. Хотелось бы пожелать автору продолжить свои исследования древнерусского элитного слоя и расширить «фронт работ». Это расширение можно осуществить как в хронологическом плане, занявшись изучением социальной верхушки в русских землях эпохи «раздробленности», так и в тематическом, занявшись вплотную проблемами, которые в работе оказались неосвещёнными или освещёнными недостаточно; например, вопросами

о материальном обеспечении знати или о происхождении и статусе новгородского боярства.

И, наконец, как говорят англичане, last but not least – последнее, но не менее важное. Книгу П.С. Стефановича читать приятно. Она прекрасно издана и оформлена, но главное, что она написана хорошим русским языком, а не на псевдонаучном «волапюке», который зачастую используют отечественные учёные. Мысль автора ясна, и даже в тех случаях, когда она вызывает какое-то несогласие, хочется его поблагодарить за доставленное внимательному читателю удовольствие.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым